
ИВАН
ТУРГЕНЕВ
Записки охотника
АЗБУКА-КЛАССИКА

Чертопханов и Недопюскин

Иван Сергеевич Тургенев

Аннотация

Иван Сергеевич Тургенев. ЧЕРТОПХАНОВ И НЕДОПЮСКИН

Аннотация

«Редко соединялись в такой степени, в таком полном равновесии два трудно сочетаемых элемента: сочувствие к человечеству и артистическое чувство», — восхищался «Записками охотника» Ф.И. Тютчев. Цикл очерков «Записки охотника» в основном сложился за пять лет (1847—1852), но Тургенев продолжал работать над книгой. К двадцати двум ранним очеркам Тургенев в начале 1870-х годов добавил еще три. Еще около двух десятков сюжетов осталось в набросках, планах и свидетельствах современников.

Натуралистические описания жизни дореформенной России в «Записках охотника» перерастают в размышления о загадках русской души. Крестьянский мир прорастает в миф и размыкается в природу, которая оказывается необходимым фоном едва ли не каждого рассказа. Поэзия и проза, свет и тени переплетаются здесь в неповторимых, причудливых образах.

Иван Сергеевич Тургенев
ЧЕРТОПХАНОВ И НЕДОПЮСКИН

В жаркий летний день возвращался я однажды с охоты на телеге; Ермолай дремал, сидя возле меня, и клевал носом. Заснувшие собаки подпрыгивали, словно мертвые, у нас под ногами. Кучер то и дело сгонял кнутом оводов с лошадей. Белая пыль легким облаком неслась вслед за телегой. Мы въехали в кусты. Дорога стала ухабистее, колеса начали задевать за сучья. Ермолай встрепенулся и глянул кругом… «Э! — заговорил он, — да здесь должны быть тетерева. Слеземте-ка». Мы остановились и вошли в «площадь». Собака моя наткнулась на выводок. Я выстрелил и начал было заряжать ружье, как вдруг позади меня поднялся громкий треск, и, раздвигая кусты руками, подъехал ко мне верховой. «А па-азвольте узнать, — заговорил он надменным голосом, — по какому праву вы здесь а-ахотитесь, мюлсвый сдарь?» Незнакомец говорил необыкновенно быстро, отрывочно и в нос. Я посмотрел ему в лицо: отроду не видал я ничего подобного. Вообразите себе, любезные читатели, маленького человека, белокурого, с красным вздернутым носиком и длиннейшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка с малиновым суконным верхом закрывала ему лоб по самые брови. Одет он был в желтый,

истасканный архалук с черными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всем швам; через плечо висел у него рог, за поясом торчал кинжал. Чахлая горбоносая рыжая лошадь металась под ним как угорелая; две борзые собаки, худые и криволапые, тут же вертелись у ней под ногами. Лицо, взгляд, голос, каждое движенье, все существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомерной, небывалой; его бледно-голубые, стеклянные глаза разбегались и косились, как у пьяного; он закидывал голову назад, надувал щеки, фыркал и вздрагивал всем телом, словно из избытка достоинства, — ни дать ни взять, как индейский петух. Он повторил свой вопрос.

— Я не знал, что здесь запрещено стрелять, — отвечал я.

— Вы здесь, милостивый государь, — продолжал он, — на моей земле.

— Извольте, я уйду.

— А па-азвольте узнать, — возразил он, — я с дворянином имею честь объясняться?

Я назвал себя.

— В таком случае извольте охотиться. Я сам дворянин и очень рад услужить дворянину… А зовут меня Чертопхановым, Пантелеем.

Он нагнулся, гикнул, вытянул лошадь по шее; лошадь замотала головой, взвилась на дыбы, бросилась в сторону и отдавила одной собаке лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопханов закипел, зашипел, ударил лошадь кулаком по голове между ушами, быстрее молнии соскочил наземь, осмотрел лапу у собаки, поплевал на рану, пихнул ее ногою в бок, чтобы она не пищала, уцепился за холку и вдел ногу в стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвост и бросилась боком в кусты; он за ней на одной ноге вприпрыжку, однако наконец-таки попал в седло; как исступленный завертел нагайкой, затрубил в рог и поскакал. Не успел я еще прийти в себя от неожиданного появления Чертопханова, как вдруг, почти безо всякого шуму, выехал из кустов толстенький человек лет сорока, на маленькой вороненькой лошаденке. Он остановился, снял с головы зеленый кожаный картуз я тоненьким и мягким голосом спросил меня, не видал ли я верхового на рыжей лошади? Я отвечал, что видел.

— В какую сторону они изволили поехать? — продолжал он тем же голосом и не надевая картуза.

— Туда-с.

— Покорнейше вас благодарю-с.

Он чмокнул губами, заболтал ногами по бокам лошаденки и поплелся рысцой — трюхи, трюхи, — по указанному направлению. Я посмотрел ему вслед, пока его рогатый картуз не скрылся за ветвями. Этот новый незнакомец наружностью нисколько не походил на своего предшественника. Лицо его, пухлое и круглое, как шар, выражало застенчивость, добродушие и кроткое смирение; нос, тоже пухлый и круглый, испещренный синими жилками, изобличал сластолюбца. На голове его спереди не оставалось ни одного волосика, сзади торчали жиденькие русые косицы; глазки, словно осокой прорезанные, ласково мигали; сладко улыбались красные и сочные губки. На нем был сюртук с стоячим воротником и медными пуговицами, весьма поношенный, но чистый; суконные его панталончики высоко вздернулись; над желтыми оторочками сапогов виднелись жирненькие икры.

— Кто это? — спросил я Ермолая.

— Это? Недопюскин, Тихон Иваныч. У Чертопханова живет.

— Что он, бедный человек?

— Небогатый; да ведь и у Чертопханова-то гроша нет медного.

— Так зачем же он у него поселился?

— А, вишь, подружились. Друг без дружки никуда… Вот уж подлинно: куда конь с копытом, туда и рак с клешней…

Мы вышли из кустов; вдруг подле нас «затякали» две гончие, и матерой беляк покатил по овсам, уже довольно высоким. Вслед за ним выскочили из опушки собаки, гончие и борзые, а вслед за собаками вылетел сам Чертопханов. Он не кричал, не травил, не атукал: он задыхался, захлебывался; из разинутого рта изредка вырывались отрывистые, бессмысленные звуки; он мчался, выпуча глаза, и бешено сек нагайкой несчастную лошадь. Борзые «приспели»… беляк присел, круто повернул назад и ринулся, мимо Ермолая, в кусты… Борзые пронеслись. «Бе-е-ги, бе-е-ги! — с усилием, словно косноязычный, залепетал замиравший охотник, — родимый, береги!» Ермолай выстрелил… раненый беляк покатился кубарем по гладкой и сухой траве, подпрыгнул кверху и жалобно закричал в зубах рассевавшегося пса. Гончие тотчас подвалились.

Турманом слетел Чертопханов с коня, выхватил кинжал, подбежал, растопыря ноги, к собакам, с яростными заклинаниями вырвал у них истерзанного зайца и, перекосясь всем лицом, погрузил ему в горло кинжал по самую рукоятку… погрузил

и загоготал. Тихон Иваныч показался в опушке. «Го-го-го-го-го-го-го-го! — завопил вторично Чертопханов… „Го-го-го-го“, — спокойно повторил его товарищ.

— А ведь, по-настоящему, летом охотиться не следует, — заметил я, указывая Чертопханову на измятый овес.

— Мое поле, — отвечал, едва дыша, Чертопханов.

Он отпазончил, второчил зайца и роздал собакам лапки.

— За мною заряд, любезный, по охотничьим правилам, — проговорил он, обращаясь к Ермолаю. — А вас, милостивый государь, — прибавил он тем же отрывистым и резким голосом, — благодарю.

Он сел на лошадь.

— Па-азвольте узнать… забыл… имя и фамилию?

Я опять назвал себя.

— Очень рад с вами познакомиться. Коли случится, милости просим ко мне… Да где же этот Фомка, Тихон Иваныч? — с сердцем продолжал он, — без него беляка затравили.

— А под ним лошадь пала, — с улыбкой отвечал Тихон Иваныч.

— Как пала? Орбассан пал? Пфу, пфить!.. Где он, где?

— Там, за лесом.

Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал сломя голову. Тихон Иваныч поклонился мне два раза — за себя и за товарища, и опять поплелся рысцой в кусты.

Эти два господина сильно возбудили мое любопытство… Что могло связать узами неразрывной дружбы два существа, столь разнородные? Я начал наводить справки. Вот что я узнал.

Чертопханов, Пантелей Еремеич, слыл во всем околотке человеком опасным и сумасбродным, гордецом и забиякой первой руки. Служил он весьма недолгое время в армии и вышел в отставку «по неприятности», тем чином, по поводу которого распространилось мнение, будто курица не птица. Происходил он от старинного дома, некогда богатого; деды его жили пышно, по-степному, то есть принимали званых и незваных, кормили их на убой, отпускали по четверти овса чужим кучерам на тройку, держали музыкантов, песельников, гаеров и собак, в торжественные дни поили народ вином и брагой, по зимам ездили в Москву на своих, в тяжелых колымагах, а иногда по целым месяцам сидели без гроша и

питались домашней живностью. Отцу Пантелея Еремеича досталось имение уже разоренное; он, в свою очередь, тоже сильно «пожуировал» и, умирая, оставил единственному своему наследнику, Пантелею, заложенное сельцо Бессоново, с тридцатью пятью душами мужеска и семидесятью шестью женска пола да четырнадцать десятин с осьминником неудобной земли в пустоши Колобродовой, на которые, впрочем, никаких крепостей в бумагах покойника не оказалось. Покойник, должно сознаться, престранным образом разорился: «хозяйственный расчет» его сгубил. По его понятиям, дворянину не следовало зависеть от купцов, горожан и тому подобных «разбойников», как он выражался; он завел у себя всевозможные ремесла и мастерские. «И приличнее и дешевле, — говаривал он, — хозяйственный расчет!» С этой пагубной мыслью он до конца жизни не расстался; она-то его и разорила. Зато потешился! Ни в одной прихоти себе не отказывал. Между прочими выдумками соорудил он однажды, по собственным соображениям, такую огромную семейственную карету, что, несмотря на дружные усилия согнанных со всего села крестьянских лошадей вместе с их владельцами, она на первом же косогоре завалилась и рассыпалась.

Еремей Лукич (Пантелеева отца звали Еремеем Лукичом) приказал: памятник поставить на косогоре, а впрочем, нисколько не смутился. Вздумал он также построить церковь, разумеется, сам, без помощи архитектора. Сжег целый лес на кирпичи, заложил фундамент огромный, хоть бы под губернский собор, вывел стены, начал сводить купол: купол упал. Он опять — купол опять обрушился; он третий раз — купол рухнул в третий раз. Призадумался мой Еремей Лукич: дело, думает, не ладно… колдовство проклятое замешалось… да вдруг и прикажи перепороть всех старых баб на деревне. Баб перепороли — а купол все-таки не свели. Избы крестьянам по новому плану перестроивать начал, и все из хозяйственного расчета; по три двора вместе ставил треугольником, а на середине воздвигал шест с раскрашенной скворечницей и флагом. Каждый день, бывало, новую затею придумывал то из лопуха суп варил, то лошадям хвосты стриг на картузы дворовым людям, то лен собирался крапивой заменить, свиней кормить грибами… Вычитал он однажды в «Московских ведомостях» статейку харьковского помещика Хряка-Хруперского о пользе нравственности в крестьянском быту и на другой же день отдал приказ всем

крестьянам немедленно выучить статью харьковского помещика наизусть. Крестьяне выучили статью; барин спросил их: понимают ли они, что там написано? Приказчик отвечал, что как, мол, не понять! Около того же времени повелел он всех подданных своих, для порядка и хозяйственного расчета, перенумеровать и каждому на воротнике нашить его нумер. При встрече с барином всяк, бывало, так уж и кричит: такой-то нумер идет! а барин отвечает ласково: ступай с Богом!

Однако, несмотря на порядок и хозяйственный расчет, Еремей Лукич понемногу пришел в весьма затруднительное положение: начал сперва закладывать свои деревеньки, а там и к продаже приступил; последнее прадедовское гнездо, село с недостроенною церковью, продала уже казна, к счастью, не при жизни Еремея Лукича, — он бы не вынес этого удара, — а две недели после его кончины. Он успел умереть у себя в доме, на своей постели, окруженный своими людьми и под надзором своего лекаря; но бедному Пантелею досталось одно Бессоново.

Пантелей узнал о болезни отца уже на службе, в самом разгаре вышеупомянутой «неприятности». Ему только что пошел девятнадцатый год. С

самого детства не покидал он родительского дома и под руководством своей матери, добрейшей, но совершенно тупоумной женщины, Василисы Васильевны, вырос баловнем и барчуком. Она одна занималась его воспитанием; Еремею Лукичу, погруженному в свои хозяйственные соображения, было не до того. Правда, он однажды собственноручно наказал своего сына за то, что он букву «рцы» выговаривал: «арцы», но в тот день Еремей Лукич скорбел глубоко и тайно: лучшая его собака убилась об дерево. Впрочем, хлопоты Василисы Васильевны насчет воспитания Пантюши ограничились одним мучительным усилием; в поте лица наняла она ему в гувернеры отставного солдата из эльзасцев, некоего Биркопфа, и до самой смерти трепетала как лист перед ним: ну, думала она, коли откажется — пропала я! куда я денусь? Где другого учителя найду? Уж и этого насилу-насилу у соседки сманила! И Биркопф, как человек сметливый, тотчас воспользовался исключительностью своего положения: пил мертвую и спал с утра до вечера. По окончании «курса наук» Пантелей поступил на службу. Василисы Васильевны уже не было на свете. Она скончалась за полгода до этого важного события, от испуга: ей во сне привиделся белый человек

верхом на медведе. Еремей Лукич вскоре последовал за своей половиной.

Пантелей, при первом известии о его нездоровье, прискакал сломя голову, однако не застал уже родителя в живых. Но каково было удивление почтительного сына, когда он совершенно неожиданно из богатого наследника превратился в бедняка! Немногие в состоянии вынести такой крутой перелом. Пантелей одичал, ожесточился. Из человека честного, щедрого и доброго, хотя взбалмошного и горячего, он превратился в гордеца и забияку, перестал знаться с соседями, — богатых он стыдился, бедных гнушался, — и неслыханно дерзко обращался со всеми, даже с установленными властями: я, мол, столбовой дворянин. Раз чуть-чуть не застрелил станового, вошедшего к нему в комнату с картузом на голове. Разумеется, власти, с своей стороны, ему тоже не спускали и при случае давали себя знать; но все-таки его побаивались, потому что горячка он был страшная и со второго слова предлагал резаться на ножах. От малейшего возражения глаза Чертопханова разбегались, голос прерывался… «А ва-ва-ва-ва-ва, — лепетал он, — пропадай моя голова!»… и хоть на стену! Да и сверх того, человек он был чистый, не замешанный ни в

чем. Никто к нему, разумеется, не ездил… И при всем том душа в нем была добрая, даже великая по-своему: несправедливости, притеснения он вчуже не выносил; за мужиков своих стоял горой. «Как? — говорил он, неистово стуча по собственной голове, — моих трогать, моих? Да не будь я Чертопханов…»

Тихон Иваныч Недопюскин не мог, подобно Пантелею Еремеичу, гордиться своим происхождением. Родитель его вышел из однодворцев и только сорокалетней службой добился дворянства. Г-н Недопюскин-отец принадлежал к числу людей, которых несчастие преследует с ожесточением неослабным, неутомимым, с ожесточением, похожим на личную ненависть. В течение целых шестидесяти лет, с самого рождения до самой кончины, бедняк боролся со всеми нуждами, недугами и бедствиями, свойственными маленьким людям; бился как рыба об лед, недоедал, недосыпал, кланялся, хлопотал, унывал и томился, дрожал над каждой копейкой, действительно «невинно» пострадал по службе и умер наконец не то на чердаке, не то в погребе, не успев заработать ни себе, ни детям куска насущного хлеба. Судьба замотала его, словно зайца на угонках. Человек он был добрый и честный, а брал взятки

— «по чину» — от гривенника до двух целковых включительно. Была у Недопюскина жена, худая и чахоточная; были и дети; к счастию, они все скоро перемерли, исключая Тихона да дочери Митродоры, по прозванию «купецкая щеголиха», вышедшей, после многих печальных и смешных приключений, за отставного стряпчего. Г-н Недопюскин-отец успел было еще при жизни поместить Тихона заштатным чиновником в канцелярию; но тотчас после смерти родителя Тихон вышел в отставку. Вечные тревоги, мучительная борьба с холодом и голодом, тоскливое уныние матери, хлопотливое отчаяние отца, грубые притеснения хозяев и лавочника — все это ежедневное, непрерывное горе развило в Тихоне робость неизъяснимую: при одном виде начальника он трепетал и замирал, как пойманная птичка. Он бросил службу. Равнодушная, а может быть и насмешливая, природа влагает в людей разные способности и наклонности, нисколько не соображаясь с их положением в обществе и средствами; с свойственною ей заботливостию и любовию вылепила она из Тихона, сына бедного чиновника, существо чувствительное, ленивое, мягкое, восприимчивое — существо, исключительно обращенное к наслаждению, одаренное

чрезвычайно тонким обонянием и вкусом… вылепила, тщательно отделала и — предоставила своему произведению вырастать на кислой капусте и тухлой рыбе. И вот оно выросло, это произведение, начало, как говорится, «жить». Пошла потеха. Судьба, неотступно терзавшая Недопюскина-отца, принялась и за сына: видно, разлакомилась. Но с Тихоном она поступила иначе; она не мучила его — она им забавлялась. Она ни разу не доводила его до отчаяния, не заставляла испытать постыдных мук голода, но мыкала им по всей России, из Великого Устюга в Царево-Кокшайск, из одной унизительной и смешной должности в другую: то жаловала его в «мажордомы» к сварливой и желчной барыне-благодетельнице, то помещала в нахлебники к богатому скряге-купцу, то определяла в начальники домашней канцелярии лупоглазого барина, стриженного на английский манер, то про изводила в полудворецкие, полушуты к псовому охотнику… Словом, судьба заставила бедного Тихона выпить по капле и до капли весь горький и ядовитый напиток подчиненного существования. Послужил он на своем веку тяжелой прихоти, заспанной и злобной скуке праздного барства… Сколько раз, наедине, в своей комнатке,

отпущенный наконец «с Богом» натешившейся всласть ватагою гостей, клялся он, весь пылая стыдом, с холодными слезами отчаяния на глазах, на другой же день убежать тайком, попытать своего счастия в городе, сыскать себе хоть писарское местечко или уж за один раз умереть с голоду на улице. Да, во-первых, силы Бог не дал; во-вторых, робость разбирала, а в-третьих, наконец, как себе место выхлопотать, кого просить? «Не дадут, — шептал, бывало, несчастный, уныло переворачиваясь на постели, — не дадут!» И на другой день снова принимался тянуть лямку. Тем мучительнее было его положение, что та же заботливая природа не потрудилась наделить его хоть малой толикой тех способностей и дарований, без которых ремесло забавника почти невозможно. Он, например, не умел ни плясать до упаду в медвежьей шубе навыворот, ни балагурить и любезничать в непосредственном соседстве расходившихся арапников; выставленный нагишом на двадцатиградусный мороз, он иногда простужался, желудок его не варил ни вина, смешанного с чернилами и прочей дрянью, ни крошеных мухоморов и сыроежек с уксусом. Господь ведает, что бы сталось с Тихоном, если бы последний из его благодетелей, разбогатевший

откупщик, не вздумал в веселый час приписать в своем завещании: а Зезе (Тихону тож) Недопюскину предоставляю в вечное и потомственное владение благоприобретенную мною деревню Бесселендеевку со всеми угодьями. Несколько дней спустя благодетеля, за стерляжьей ухой, прихлопнул паралич. Поднялся гвалт, суд нагрянул, опечатал имущество, как следует. Съехались родные; раскрыли завещание; прочли, потребовали Недопюскина. Явился Недопюскин. Большая часть собранья знала, какую должность Тихон Иваныч занимал при благодетеле: оглушительные восклицания, насмешливые поздравления посыпались ему навстречу. «Помещик, вот он, новый помещик!» — кричали прочие наследники. «Вот уж того, — подхватил один, известный шутник и остряк, — вот уж точно, можно сказать… вот уж действительно… того… что называется… того… наследник». — И все так и прыснули. Недопюскин долго не хотел верить своему счастию. Ему показали завещание — он покраснел, зажмурился, начал отмахиваться руками и зарыдал в три ручья. Хохот собранья превратился в густой и слитный рев. Деревня Бесселендеевка состояла всего из двадцати двух душ крестьян; никто о ней не сожалел сильно, так почему же, при случае,

не потешиться? Один только наследник из Петербурга, важный мужчина с греческим носом и благороднейшим выражением лица, Ростислав Адамыч Штоппель, не вытерпел, пододвинулся боком к Недопюскину и надменно глянул на него через плечо. «Вы, сколько я могу заметить, милостивый государь, — заговорил он презрительно-небрежно, — состояли у почтенного Феодора Феодорыча в должности потешного, так сказать, прислужника?» Господин из Петербурга выражался языком нестерпимо чистым, бойким и правильным. Расстроенный, взволнованный Недопюскин не расслышал слов незнакомого ему господина, но прочие тотчас все замолкли; остряк снисходительно улыбнулся. Г-н Штоппель потер себе руки и повторил свой вопрос. Недопюскин с изумлением поднял глаза и раскрыл рот. Ростислав Адамыч язвительно прищурился.

— Поздравляю вас, милостивый государь, поздравляю, — продолжал он, — правда, не всякий, можно сказать, согласился бы таким образом заррр-работывать себе насущный хлеб; но de gustibus non est disputandum, то есть у всякого свой вкус… Не правда ли?

Кто-то в задних рядах быстро, но прилично взвизгнул от удивления и восторга.

— Скажите, — подхватил г. Штоппель, сильно поощренный улыбками всего собрания, — какому таланту в особенности вы обязаны своим счастием? Нет, не стыдитесь, скажите; мы все здесь, так сказать, свои, en famille. Но правда ли, господа, мы здесь en famille?

Наследник, к которому Ростислав Адамыч случайно обратился с этим вопросом, к сожалению, не знал по-французски и потому ограничился одним одобрительным и легким кряхтением. Зато другой наследник, молодой человек с желтоватыми пятнами на лбу, поспешно подхватил: «Вуй, вуй, разумеется».

— Может быть, — снова заговорил г. Штоппель, — вы умеете ходить на руках, поднявши ноги, так сказать, кверху?

Недопюскин с тоской поглядел кругом — все лица злобно усмехались, все глаза покрылись влагой удовольствия.

— Или, может быть, вы умеете петь, как петух?

Взрыв хохота раздался кругом и стих тотчас, заглушенный ожиданием.

— Или, может быть, вы на носу…

— Перестаньте! — перебил вдруг Ростислава Адамыча резкий и громкий голос. — Как вам не стыдно мучить бедного человека!

Все оглянулись. В дверях стоял Чертопханов. В качестве четвероюродного племянника покойного откупщика он тоже получил пригласительное письмо на родственный съезд. Во все время чтения он, как всегда, держался в гордом отдалении от прочих.

— Перестаньте, — повторил он, гордо закинув голову.

Г-н Штоппель быстро обернулся и, увидав человека бедно одетого, неказистого, вполголоса спросил у соседа (осторожность никогда не мешает):

— Кто это?

— Чертопханов, не важная птица, — отвечал ему тот на ухо.

Ростислав Адамыч принял надменный вид.

— А вы что за командир? — проговорил он в нос и прищурил глаза. — Вы что за птица, позвольте спросить?

Чертопханов вспыхнул, как порох от искры. Бешенство захватило ему дыханье.

— Дз-дз-дз-дз, — зашипел он, словно удавленный, и вдруг загремел: — Кто я? кто я? Я Пантелей Чертопханов, столбовой дворянин, мой прапращур царю служил, а ты кто?

Ростислав Адамыч побледнел и шагнул назад.

Он не ожидал такого отпора.

— Я птица, я, я птица… О, о, о!..

Чертопханов ринулся вперед; Штоппель отскочил в большом волнении, гости бросились навстречу раздраженному помещику.

— Стреляться, стреляться, сейчас стреляться через платок! — кричал рассвирепевший Пантелей, — или проси извинения у меня, да и у него…

— Просите, просите извинения, — бормотали вокруг Штоппеля встревоженные наследники, — он ведь такой сумасшедший, готов зарезать.

— Извините, извините, я не знал, — залепетал Штоппель, — я не знал…

— И у него проси! — возопил неугомонный Пантелей.

— Извините и вы, — прибавил Ростислав Адамыч, обращаясь к Недопюскину, который сам дрожал, как в лихорадке.

Чертопханов успокоился, подошел к Тихону Иванычу, взял его за руку, дерзко глянул кругом и, не встречая ни одного взора, торжественно, среди глубокого молчания, вышел из комнаты вместе с новым владельцем благоприобретенной деревни Бесселендеевки.

С того самого дня они уже более не расставались. (Деревня Бесселендеевка отстояла всего

на восемь верст от Бессонова.) Неограниченная благодарность Недопюскина скоро перешла в подобострастное благоговение. Слабый, мягкий и не совсем чистый Тихон склонялся во прах перед безбоязненным и бескорыстным Пантелеем. «Легкое ли дело! — думал он иногда про себя, — с губернатором говорит, прямо в глаза ему смотрит… вот те Христос, — так и смотрит!»

Он удивлялся ему до недоумения, до изнеможения душевных сил, почитал его человеком необыкновенным, умным, ученым. И то сказать, как ни было худо воспитание Чертопханова, все же, в сравнении с воспитанием Тихона, оно могло показаться блестящим. Чертопханов, правда, по-русски читал мало, по-французски понимал плохо, до того плохо, что однажды на вопрос гувернера из швейцарцев: «Vous parlez francais, monsieur?»[1] — отвечал: «Жэ не разумею, — и, подумав немного, прибавил: — па»; но все-таки он помнил, что был на свете Вольтер, преострый сочинитель, что французы с англичанами много воевали и что Фридрих Великий, прусский король, на военном поприще тоже отличался. Из русских писателей уважал он Державина, а

---

[1] notes: 1
Вы говорите по-французски, сударь? *(франц.)*

любил Марлинского и лучшего кобеля прозвал Аммалат-Беком…

Несколько дней спустя после первой моей встречи с обоими приятелями отправился я в сельцо Бессоново к Пантелею Еремеичу. Издали виднелся небольшой его домик; он торчал на голом месте, в полуверсте от деревни, как говорится, «на юру», словно ястреб на пашне. Вся усадьба Чертопханова состояла из четырех ветхих срубов разной величины, а именно: из флигеля, конюшни, сарая и бани. Каждый сруб сидел отдельно, сам по себе: ни забора кругом, ни ворот не замечалось. Кучер мой остановился в недоумении у полусгнившего и засоренного колодца. Возле сарая несколько худых и взъерошенных борзых щенков терзали дохлую лошадь, вероятно Орбассана; один из них поднял было окровавленную морду, полаял торопливо и снова принялся глодать обнаженные ребра. Подле лошади стоял малый лет семнадцати, с пухлым и желтым лицом, одетый казачком и босоногий; он с важностью посматривал на собак, порученных его надзору, и изредка постегивал арапником самых алчных.

— Дома барин? — спросил я.

— А Господь его знает! — отвечал малый. — По-

стучитесь.

Я соскочил с дрожек и подошел к крыльцу флигеля. Жилище господина Чертопханова являло вид весьма печальный: бревна почернели и высунулись вперед «брюхом», труба обвалилась, углы подопрели и покачнулись, небольшие тускло-сизые окошечки невыразимо кисло поглядывали из-под косматой, нахлобученной крыши: у иных старух-потаскушек бывают такие глаза. Я постучался: никто не откликнулся. Однако мне за дверью слышались резко произносимые слова:

— Аз, буки, веди; да ну же, дурак, — говорил сиплый голос, — аз, буки, веди, глаголь… да нет! глаголь, добро, есть! есть!.. Ну же, дурак!

Я постучался в другой раз.

Тот же голос закричал:

— Войди, — кто там…

Я вошел в пустую маленькую переднюю и сквозь растворенную дверь увидал самого Чертопханова. В засаленном бухарском халате, широких шароварах и красной ермолке сидел он на стуле, одной рукой стискивал он молодому пуделю морду, а в другой держал кусок хлеба над самым его носом.

— А! — проговорил он с достоинством и не трогаясь с места, — очень рад вашему посещенью.

Милости прошу садиться. А я вот с Вензором вожусь… Тихон Иваныч, — прибавил он, возвысив голос, — пожалуй-ка сюда. Гость приехал.

— Сейчас, сейчас, — отвечал из соседней комнаты Тихон Иваныч. — Маша, подай галстук.

Чертопханов снова обратился к Вензору и положил ему кусок хлеба на нос. Я посмотрел кругом. В комнате, кроме раздвижного покоробленного стола на тринадцати ножках неравной длины да четырех продавленных соломенных стульев, не было никакой мебели; давным-давно выбеленные стены, с синими пятнами в виде звезд, во многих местах облупились; между окнами висело разбитое и тусклое зеркальце в огромной раме под красное дерево. По углам стояли чубуки да ружья; с потолка спускались толстые и черные нити паутин.

— Аз, буки, веди, глаголь, добро, — медленно произносил Чертопханов и вдруг неистово воскликнул: — Есть! есть! есть!.. Экое глупое животное!.. есть!..

Но злополучный пудель только вздрагивал и не решался разинуть рот; он продолжал сидеть, поджавши болезненно хвост, и, скривив морду, уныло моргал и щурился, словно говорил про себя: известно, воля ваша!

— Да ешь, на! пиль! — повторял неугомонный помещик.

— Вы его запугали, — заметил я.

— Ну, так прочь его!

Он пихнул его ногой. Бедняк поднялся тихо, сронил хлеб долой с носа и пошел, словно на цыпочках, в переднюю, глубоко оскорбленный. И действительно: чужой человек в первый раз приехал, а с ним вот как поступают.

Дверь из другой комнаты осторожно скрипнула, и г. Недопюскин вошел, приятно раскланиваясь и улыбаясь.

Я встал и поклонился.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, — залепетал он.

Мы уселись. Чертопханов вышел в соседнюю комнату.

— Давно вы пожаловали в наши Палестины? — заговорил Недопюскин мягким голосом, осторожно кашлянув в руку и, для приличья, подержав пальцы перед губами.

— Другой месяц пошел.

— Вот как-с.

Мы помолчали.

— Приятная нонеча стоит погода, — продолжал Недопюскин и с благодарностию посмотрел на

меня, как будто бы погода от меня зависела, — хлеба, можно сказать, удивительные.

Я наклонил голову в знак согласия. Мы опять помолчали.

— Пантелей Еремеич вчера двух русаков изволили затравить, — не без усилия заговорил Недопюскин, явно желавший оживить разговор, — да-с, пребольших-с русаков-с.

— Хорошие у господина Чертопханова собаки?

— Преудивительные-с! — с удовольствием возразил Недопюскин, — можно сказать, первые по губернии. (Он пододвинулся ко мне.) Да что-с! Пантелей Еремеич такой человек! Что только пожелает, вот что только вздумает — глядишь, уж и готово, все уж так и кипит-с. Пантелей Еремеич, скажу вам…

Чертопханов вошел в комнату. Недопюскин усмехнулся, умолк и показал мне на него глазами, как бы желая сказать: вот вы сами убедитесь. Мы пустились толковать об охоте.

— Хотите, я вам покажу свою свору? — спросил меня Чертопханов и, не дождавшись ответа, позвал Карпа.

Вошел дюжий парень в нанковом кафтане зеленого цвета с голубым воротником и ливрейными пуговицами.

— Прикажи Фомке, — отрывисто проговорил Чертопханов, — привести Аммалата и Сайгу, да в порядке, понимаешь?

Карп улыбнулся во весь рот, издал неопределенный звук и вышел. Явился Фомка, причесанный, затянутый, в сапогах и с собаками. Я, ради приличия, полюбовался глупыми животными (борзые все чрезвычайно глупы). Чертопханов поплевал Аммалату в самые ноздри, что, впрочем, по-видимому, не доставило этому псу ни малейшего удовольствия. Недопюскин также сзади поласкал Аммалата. Мы опять принялись болтать. Чертопханов понемногу смягчился совершенно, перестал петушиться и фыркать; выраженье лица его изменилось. Он глянул на меня и на Недопюскина…

— Э! — воскликнул он вдруг, — что ей там сидеть одной? Маша! а Маша! поди-ка сюда.

Кто-то зашевелился в соседней комнате, но ответа не было.

— Ма-а-ша, — ласково повторил Чертопханов, — поди сюда. Ничего, не бойся.

Дверь тихонько растворилась, и я увидал женщину лет двадцати, высокую и стройную, с цыганским смуглым лицом, изжелта-карими глазами и черною как смоль косою; большие белые

зубы так и сверкали из-под полных и красных губ. На ней было белое платье, голубая шаль, заколотая у самого горла золотой булавкой, прикрывала до половины ее тонкие, породистые руки. Она шагнула раза два с застенчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась.

— Вот, рекомендую, — промолвил Пантелей Еремеич: — жена не жена, а почитай что жена.

Маша слегка вспыхнула и с замешательством улыбнулась. Я поклонился ей пониже. Очень она мне нравилась. Тоненький орлиный нос с открытыми полупрозрачными ноздрями, смелый очерк высоких бровей, бледные, чуть-чуть впалые щеки — все черты ее лица выражали своенравную страсть и беззаботную удаль. Из-под закрученной косы вниз по широкой шее шли две прядки блестящих волосиков — признак крови и силы.

Она подошла к окну и села. Я не хотел увеличить ее смущенья и заговорил с Чертопхановым. Маша легонько повернула голову и начала исподлобья на меня поглядывать, украдкой, дико, быстро. Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало. Недопюскин подсел к ней и шепнул ей что-то на ухо. Она опять улыбнулась. Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало ее лицу не то кошачье, не то

львиное выражение…

«О, да ты „не тронь меня“, — подумал я, в свою очередь украдкой посматривая на ее гибкий стан, впалую грудь и угловатые, проворные движения.

— А что, Маша, — спросил Чертопханов, — надобно бы гостя чем-нибудь и попотчевать, а?

— У нас есть варенье, — отвечала она.

— Ну, подай сюда варенье, да уж и водку кстати. Да послушай, Маша, — закричал он ей вслед, — принеси тоже гитару.

— Для чего гитару? Я петь не стану.

— Отчего?

— Не хочется.

— Э, пустяки, захочется, коли…

— Что? — спросила Маша, быстро наморщив брови.

— Коли попросят, — договорил Чертопханов не без смущения.

— А!

Она вышла, скоро вернулась с вареньем и водкой и опять села у окна. На лбу ее еще виднелась морщинка; обе брови поднимались и опускались, как усики у осы… Заметили ли вы, читатель, какое злое лицо у осы? Ну, подумал я, быть грозе. Разговор не клеился. Недопюскин притих

совершенно и напряженно улыбался; Чертопханов пыхтел, краснел и выпучивал глаза; я уже собирался уехать… Маша вдруг приподнялась, разом отворила окно, высунула голову и с сердцем закричала проходившей бабе: «Аксинья!» Баба вздрогнула, хотела было повернуться, да поскользнулась и тяжко шлепнулась наземь. Маша опрокинулась назад и звонко захохотала; Чертопханов тоже засмеялся, Недопюскин запищал от восторга. Мы все встрепенулись. Гроза разразилась одной молнией… воздух очистился.

Полчаса спустя нас бы никто не узнал: мы болтали и шалили, как дети. Маша резвилась пуще всех, — Чертопханов так и пожирал ее глазами. Лицо у ней побледнело, ноздри расширились, взор запылал и потемнел в одно и то же время. Дикарка разыгралась. Недопюскин ковылял за ней на своих толстых и коротких ножках, как селезень за уткой. Даже Вензор выполз из-под прилавка в передней, постоял на пороге, поглядел на нас и вдруг принялся прыгать и лаять. Маша выпорхнула в другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль с плеч долой, проворно села, подняла голову и запела цыганскую песню. Ее голос звенел и дрожал, как надтреснутый стеклянный колокольчик, вспыхивал и замирал… Любо и

жутко становилось на сердце. «Ай жги, говори!..» Чертопханов пустился в пляс. Недопюскин затопал и засеменил ногами. Машу всю поводило, как бересту на огне; тонкие пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось под двойным янтарным ожерельем. То вдруг она умолкала, опускалась в изнеможенье, словно неохотно щипала струны, и Чертопханов останавливался, только плечиком подергивал да на месте переминался, а Недопюскин покачивал головой, как фарфоровый китаец; то снова заливалась она как безумная, выпрямливала стан и выставляла грудь, и Чертопханов опять приседал до земли, подскакивал под самый потолок, вертелся юлой, вскрикивал: «Жива!»...

— Живо, живо, живо, живо! — скороговоркой подхватывал Недопюскин.

Поздно вечером уехал я из Бессонова...